

Игорь Куберский

МАНЬЯК



Игорь Юрьевич Куберский

Маньяк

издательский текст

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=166797

Маньяк (сборник): Институт Социологии; 2004

ISBN 5-9637-0016-7, 5963700167

Аннотация

Повесть «Маньяк» — это история безумца, черпающего свои эротические переживания в экстриме. Обычный библиотекарь, по ночам он превращается в человека-паука, висящего на стене дома и разглядывающего в окнах свою очередную жертву, которую он отнюдь не...

Содержание

Ночь первая	5
Ночь вторая	16
Конец ознакомительного фрагмента.	17

Игорь Куберский

МАНЬЯК

Повесть

*У сих свадьбу творят,
а у других мертвеца плачутся.*
Изборник 1076 года

Ночь первая

Ровно в двенадцать ночи я начал спуск. В это время она заканчивала принимать ванну. Через минут пять она появится в своей спальне в шелковой, золотистого цвета пижаме. Она сядет на круглый пуфик перед зеркалом и, пристально глядя на себя, будет расчесывать волосы с потемневшими от воды кончиками. У нее серьезное, почти строгое лицо, и видно, что мысли не отпускают ее. В квартире она одна. Я узнал о ее существовании лишь неделю назад, и вот уже третий раз отправляюсь к ее окну. Сегодня воскресенье – вернее, уже понедельник. На стене я проведу час-полтора – завтра я работаю.

Этот дом я облюбовал прежде всего потому, что двумя стенами он обращен в парк, к деревьям, откуда в этот поздний час меня никто не увидит. Фонарей в парке нет. Ночь теплая, в ней еще слышится дыхание только что миновавшего августа, первой опавшей листвы. Вообще, август и сентябрь – мои любимые месяцы, когда тепло и темно. Я жду их целый год, готовлюсь к ним, усвершенствуя свою технику. Я, конечно, могу бродить по стенам в любой сезон – холодной зимой и в слишком светлую пору весны и лета, но конец лета – начало осени – это для меня звездное время. Моей экипировке позавидует любой альпинист. На нее я трачу добрую часть зарплаты. Основное мое требование к ней – легкость, прочность и компактность. Большая часть моих спусков или восхождений проходит без страховки. Мизерного заработка старшего библиографа, а я работаю в Государственной публичной библиотеке, на это, естественно, не хватило бы, и время от времени я подрываюсь на различные высотные работы, когда хотят сэкономить на лесах: крашу стены, спускаясь на дощечке, кладу на высоте двенадцатого этажа отвалившуюся плитку, залезаю на проржавевшие купола церквей. В городе меня в этом качестве знают и зовут, когда нужно. Но никто не знает о моем хобби.

Стена еще теплая. Потравливая лавсановую веревку, я спускаюсь в петле, пропущенной сквозь кольца на моем поясе. На стене у меня нет соперников – я тут хозяин. Но, как и в дикой природе, есть у меня и естественные враги – бомжи, живущие на чердаках и испытывающие какой-то патологический интерес ко всякого рода веревкам, да ночные балконные курильщики. Поэтому стена с балконами и лоджиями для меня – зона повышенного риска.

Я невысокого роста – 167 см. Но Михаил Барышников еще ниже. Между прочим – это рост Пушкина, которого традиционно считают маленьким. Видимо, из-за Натальи Гончаровой, которая по тем временам была просто дылдой – 174 сантиметра. Я русский, широкоплечий, с узкой талией и легкими ногами. Руки – мое главное оружие. И еще – отсутствие страха высоты: для меня все равно, где жердочка, по которой надо пройти, – на земле или на высоте десятиэтажного дома. В детстве я лучше и быстрее всех лазил по деревьям. Но больше всего я любил лазить по развалинам, в старых ремонтируемых домах... Однажды я чуть не погиб... Тогда подо мной рухнул в пролет целый лестничный марш, и я чудом остался жив, зацепившись за перила лестничной площадки, повисшей на арматуре...

Два самых сильных и несбывшихся желания моего детства – быть невидимкой и уметь летать. Хожение в ночное время по вертикальной стене – это все, чем я смог заменить в подлунном, железобетонном мире свои золотые грезы.

Вот и ее окно – я приспускаюсь ниже, так чтобы моя шея была на уровне карниза и... утыкаюсь в тяжелую малиновую штору, которой она завесила всю ширину трехстворчатой рамы. В панике я быстро перебираю ногами, смещаясь к левой стороне, но там между косяком и краем шторы – лишь узкая щель, слишком далекая от меня, чтобы приникнуть и расширить угол обзора. Итак, сеанс окончен. Мне трудно пережить крайнее разочарование, и я готов стучать в стекло, открывать форточку, залезать на балкон... Но, слава богу, у нее нет балкона – балконы здесь через два этажа, и можно только подивиться идиотизму архи-

тектора, расположившего их так по своей эстетической прихоти. Впрочем, допускаю, что идиотов тут было два: он плюс экономист, или даже три – оба они плюс Советская власть, которую я вспоминаю без ностальгии. Дом совковый, панельный, начала семидесятых, когда строили очень много и очень плохо, зачастую оставляя щели между панелями в палец или даже в руку толщиной, которые я по заказу жилконтор затыкаю паклей и замазываю до сих пор.

Зачем она зашторила окно – ведь за ним никого и ничего... кроме меня и тьмы. Чем мы ей помешали? Или сегодня она не одна? Кровь ударяет мне в голову. Как, по какому праву?! Как же я это упустил? Или надеялся, что она всю жизнь будет одна садиться перед зеркалом, а я, затаив дыхание, смотреть? Я перебираюсь к кухонному окну, но оно занавешено и темно. Я подтягиваюсь к открытой форточке на почти неслышно стрекочущем ручном подъемнике – хитрая система шестеренок позволяет почти не тратить при этом усилий – и жадно вдыхаю тихо веющий в лицо воздух женского жилья, пытаюсь уловить в нем слабый аромат ее духов, растворенный в запахе кожи, влажного полотенца, только что обнимавшего ее, льнувшего к ней в самых сокровенных местах, или хотя бы мыла, которым дышит сейчас ее омытое свежее тело. Где та вода, что жемчужными струйками разбегалась по ее шее, ложбинке спины, плечам и груди и снова собиралась у ее таинственного лона в прозрачный нервный жгутик, сладко вздрагивающий от соглядатайства и приобщенности к тайне? Тот жгутик – это я... Нервы мои напряжены до предела и мне срочно нужна разрядка. Иначе я сойду с ума.

Словно из мести, я бросаюсь на поиски другого окна, которое, пусть лишь условно, заменит мне окно моей неверной возлюбленной. Я перебираю интимные подробности чужих жизней, словно листаю, забравшись в детстве под одеяло с фонариком, толстую дореволюционную книгу с картинками под ошеломляюще-бесстыдным названием «Мужчина и женщина»... Там, в теплой пещерке собственного мира, я испытал самые восхитительные коитусы, которые потом уже никогда не повторились.

...На десятом этаже голая двенадцатилетняя девчушка изучает себя, стоя задом к трюмо и опустив голову между коленей. Что она там видит, мне неизвестно, потому что зеркало – боком к окну, за которым я подзавис, но я легко могу себе это представить. Однако сцена оставляет меня глубоко равнодушным – нимфетки не в моем вкусе, – и я спешу дальше, к еще освещенным окнам. На том же десятом муж и жена средних лет лежат по разные стороны огромной супружеской постели – у каждого свой ночной столик, свой светильник – читают, спиной друг к другу. Для этих секс – в прошлом. В лучшем случае, они время от времени громоздятся друг на друга, чтобы избавиться от зуда в чреслах. Если бы мне предложили за ними понаблюдать, я бы попросил плату и желательнее вперед. На девятом мне попадает сцена позанятней – два юнца лежат в обнимку, закатив глаза, в ушах – черные раковинки наушников: накурились или нанюхались, поймали друг дружку и теперь оттягиваются на музыкальной волне. Нирвана... Голубых не терплю. Наконец на шестом этаже – крайнее окно слева, мне попадает примерно то, чего и хотелось. Одинокая миловидная женщина лет сорока в фиолетовой сорочке на тонких бретельках, без трусиков, грустно мастурбирует на старинный манер, многожды запечатленный художниками, – зажав между ног подушку. Она придерживает ее левой рукой, как мужской зад, правая же – между ног... и видно, что рука эта ее давняя верная подруга – не предаст и не подведет, хотя чудес и волшебных превращений от нее ожидать и не приходится.

У меня два варианта – испытать оргазм прямо здесь, на стене, обрызгав ее на память опаловым фонтанчиком низменной страсти, или же открыть окно, тихо войти и спокойно изнасиловать жертву, зажав ей рот рукой. Можно и соблазнить, но для этого потребуется больше времени, а мне завтра с утра на работу. В разное время мне хочется разного. Сегодня я оскорблен и отвергнут ради кого-то – месть моя будет стремительна. На несчастье или счастье сорокалетней дамы, у нее есть балкон – дверь в комнату, окно на кухню. Я неслышно

перелезаю через перила, отпускаю конец веревки, дергаю за другой, и она, перелетев через блок, оставленный на крыше то ли строителями, то ли кровельщиками, поднимавшими в бадье свою смолу, возвращается ко мне, – легко, как капли воды, простучав по перилам балкона. Звук этот не привлекает внимания моей сегодняшней избранницы, которая, похоже, уже всерьез увлечена воображаемым партнером. Пора в него воплотиться.

Я решаю начать с кухни, точнее, с коридора, в котором темно и глухо – лишь там, где двери в туалет и ванную – слабый блик света из щели под дверью в комнату. Надо срочно чем-то пошуметь, а то она там кончит без меня и будет потом вялой, как размороженная пикша. Я останавливаюсь возле вешалки, на ощупь снимаю что-то вроде плаща и прямо с плечиками бросаю на пол. Звук негромкий, но явственный под названием «что-то упало». Может быть включен в каталог звуковых файлов компании «Микрософт». Дверь в комнату открывается, и я вижу силуэт своей избранницы – в одной короткой сорочке, доходящей ей до голых бедер, линии которых мне безотчетно приятны. Настороженно вытянув вперед шею, она идет к выключателю возле входной двери, но тут же спотыкается о свой плащ, поднимает его – я делаю шаг и, оказавшись за ней, правой рукой властно хватаю за талию, а левой накрепко закрываю рот.

Ее придушенный крик уходит в мою ладонь, а тело дергается, будто прищемленное в мышеловке. Она может сейчас потерять сознание, и, чтобы этого не случилось, я прижимаю горячими губами к ее уху и тихо безостановочно говорю. Почти неважно что. Голосом можно творить чудеса.

– Простите меня, мадам, что испугал вас, – говорю я. – Но вам нечего бояться. Я не насильник и не вор, я просто несчастный человек, который пришел просить у вас милостыню любви. Дайте ее, и ни один волос не упадет ни с вашей головы, ни с вашего лона. Разве мы с вами не одиноки? – Голос у меня – вкрадчивый баритон с бархатными низами и гибкими модуляциями. Выражаюсь я старомодно, велеречиво, как три мушкетера Александр а Дюма и рыцари круглого стола короля Артура. Я воспитан в лучших домах и исповедую культ Прекрасной Дамы. От меня пахнет дорогим одеколоном «Минотавр», перемешанным с молодым мужским потом – увы, трудно не вспотеть на стене, – и если мне позволят раздеться, я продемонстрирую великолепный торс мужской фотомодели с обложки модного дорогого журнала для женщин.

Наконец избранница перестает биться в моих руках, и по ее движению я чувствую, что она хочет вступить в диалог. Я отпускаю ее рот – не талию, которая по-прежнему в капкане моей железной руки, – и слышу:

– Кто вы такой, что вам нужно? – судя по голосу, она смертельно испугана и сбита с толку. Голос у нее вполне интеллигентный, и я облегченно вздыхаю. Поведение интеллигенции, в общем, предсказуемо.

– Ничего, мадам, абсолютно ничего мне не нужно, – отвечаю я, – ни золота, ни бриллиантов. Ни жизни вашей. Я не насильник и уважаю чужую свободу и право выбора. Если вы мне скажете уйти – я уйду. Но прежде прошу вас меня выслушать. – Меня разбирает смех от собственных слов, и я едва сдерживаю улыбку.

– У меня нет золота, – говорит она. – Уходите, я не хочу вас слушать. Я позову милицию.

– Это совершенно невозможно, мадам, – говорю я. – Я не дам вам сделать ни шагу... – Рука моя быстро опускается с талии и оказывается у нее в промежности – приятно горячей и кудрявой.

– Ай! – тихонько вскрикивает женщина, и этот беспомощный вскрик жертвы привычно и безотказно возбуждает меня. Теперь она понимает, что мне нужно, и ее трясет, будто под током.

– Вы не смеете, вы не смеете! – повторяет она свистящим шепотом, обхватив руками мою беззастенчивую руку, пытаясь вернуть себе то, чем я завладел. Но в ее движениях нет решительного протеста, и я продолжаю:

– Я бы не посмел, мадам, если бы не видел, как вы занимались рукоблудием. Где ваш мужчина? Почему вы одна? Такая женщина!

– Я не одна. Ко мне должны прийти.

– Никто к вам не придет, иначе бы вы не занимались таким грустным делом.

– Вы – маньяк! – слышу я и охотно соглашаюсь:

– Да, это правда, мадам, и потому советую быть со мной поосторожней. Я сам не знаю, на что способен в минуту гнева.

Тем временем, несмотря на помеху из ее рук, мои пальцы торопливо оглаживают ее пах, теребят мокрый пупырышек клитора, окунаются в смазку ее довольно упругой вагины. Женщина закидывает голову, и я слышу, как у нее перехватывает дыхание.

– Вы меня не убьете? – слышу я и тихо смеюсь:

– Конечно нет, мадам... Если вы не будете шуметь. Знаете правила поведения жертвы? Отдаваться, когда нет иного выхода. Расслабиться и получить удовольствие.

– Вы – не мужчина...

– Это правда, мадам. Я не мужчина – я импотент. Меня возбуждает только то, чего нельзя.

– Я вас презираю...

– Я тоже, – отвечаю я.

Она начинает плакать. Так-то лучше.

Силой я ставлю ее на колени и мгновение жадно изучаю в полумраке коридора ее вздрагивающие от всхлипов небогатые сокровища. Талия у нее узкая, а зад плосковат, и вся его гладкая масса пошла на ширину, но сам переход от узкого к широкому красив. Опустившись, я с удовлетворением тихонько сжимаю его с боков, подправляя под себя, потом достаю свой восставший фаллос и нежно, его головкой, глажу влажную промежность женщины. Она вдруг перестает всхлипывать, как бы прислушиваясь к неожиданным для себя ощущениям. Наконец я медленно и властно погружаюсь и слышу ее невольное «ух».

Что такое вагина? Мускулистая трубка, в которой, как поршень в цилиндре, ходит член, вырабатывая, вернее, тратя огромное количество энергии. Почему же она мне так дорога, что я готов на безумства снова и снова?

...Резко выдернув фаллос, так что широкие скулы его головки выбрали из глубины добрую порцию капнувшей на пол смазки, я быстро переворачиваюсь на спину и жадно слизываю ее остатки с прилегающих к незакрывшейся дырочке складок, чуть горячих, как дымок от палой листвы в осенних садах. В таком положении я довольно уязвим и беззащитен, но женщина и не думает воспользоваться этим – она дрожит, и дрожит, и дрожит, молча, как ученица на уроке маэстро.

И в это время раздался звонок в дверь. Прямо как в знаменитой кинокартине Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С легким паром!», вздумай он снять ее, так сказать, сексуальный вариант. Машинально я глянул на свои светящиеся часы – была половина первого: время прибытия загулявших мужей и недогулявших любовников. Но мужья открывают сами... Я сделал резкий нырок от ее беззащитного испуганно-податливого лона к ее лицу, засветившемуся надо мной, как печальная луна, и грозно прошептал, крепко схватив женщину за плечи: «Молчать!». И она – о Господи, неисповедимы пути Твои! – готовно кивнула мне. Теперь она будет моей верной рабой – я надену ей ошейник и выпущу погулять. Она будет бежать рядом и повиливать хвостом, заглядывая мне в глаза. И за что? За минуту пронзительной ласки, которой она – бьюсь об заклад – никогда не знала...

– Кто это? – оставаясь под ней, уже как хозяин шепнул я.

– Так, один... – повела она небрежно плечом. Плечи у нее были на диво хороши, а под сорочкой круглились не потерявшие форму груди, похоже, не кормившие детей.

Я снизу поддел туда руки и стал тихо катать между пальцами ее еще свежие соски. Женщина часто задышала носом и упала мне лицом на щеку. Я запустил левую, мою более энергетическую руку в прядь ее довольно густых, но нежных, как паутинки, волос и послал луч ослепительного импульса ей в затылок. Не знаю, может, все это мне только чудилось, но после того, как женский затылок оказывался на моей левой ладони, я мог делать все, что хочу. Не помню случая, чтобы было иначе.

Дальше началась какая-то сплошная «Песнь песней», постепенно переходящая в «Вечера на хуторе близ Диканьки», потому что звонок звонил и звонил, и было три варианта – не открывать, открыть дверь и набить морду или открыть лишь на цепочку и объяснить, чтобы не шумел, не будил соседей, а по-тихому уматывал, пока метро не закрылось. Надежда – черт подери, ее звали Надеждой! – так и сделала. Свет она, естественно, не включила и пока она убеждала в щелку неразумного дядьку по имени Володя не валять дурака, я, удобно пристроившись сзади, не избежал искушения воспользоваться другой щелкой. Самое забавное было видеть, как корчилась она перед очами экс-любовника, объясняя свои судороги менструальными болями в паху.

– У тебя ж только было, – оторопел памятный Володя.

– Снова началось, – сделав глубокий вдох по вхождению моего фаллоса, нашлась Надя.

Ночь мы провели в каких-то безумных скачках – со сменой седоков и лошадей. «Ах ты, озорник! Ах ты, проказник!» – счастливо смеялась она, обнаружив изобретательность почище моей. Я вернул ей детство, не сказав только о плате. Рано утром я ушел, не попрощавшись, – лишь взяв с балкона свою экипировку, уместящуюся в маленьком компактном рюкзаке. Впрочем, я обещал на днях зайти. Только и узнала она, что я искатель ночных приключений по имени Матвей, умеющий проходить сквозь стены, и что у меня было несчастливое детство. В свете утренней зари ее спящее лицо утратило одухотворенность, и я с облегчением закрыл за собой входную дверь.

* * *

Я, естественно, не всегда был маньяком, тем более вуайеристом, хотя наблюдение за тем, как занимаются любовью другие, с детства гипнотизировало меня. За собой не наблюдаю – не только, так сказать, пространственно,¹ но и – психологически, потому что секс это, может быть, единственное наше состояние, кроме сна, которое нам неподотчетно, трансцендентно, эзотерично. Есть даже мнение, что секс – это канал, по которому каждый смертный, независимо от звания и количества извилин в двух полушариях, имеет приватный выход к Богу, и что наш оргазм, высшее наслаждение, данное нам на земле, – это и есть выражение любви к Господу, самопожертвование и религиозный экстаз. Для меня в этом что-то есть. Ведь не женщину же мы любим, кончая в нее. В этот миг ее вообще не существует, она исчезает, и вместо нее на том берегу, к которому мы вечно стремимся, вспыхивает Благодать, Блаженство. Интересно, что эти слова, дошедшие до нас из старославянского, включают в себя обертоны понятия благого как слабого, плохого, дурного.² Так в живописи порой требуется темный фон, чтобы на нем светилось желаемое.

Вуайеризм – он для продвинутых в эротическом аспекте, не случайно его любят старики. Для них это не зуд угасающих гениталий, а просветленный зов. По мере старения плоти его становится альтруистичным – таков естественный путь к прозрению. Число

¹ зеркало тут мало что дает

² блажь, блажить

же прозревших в моем возрасте смехотворно мало – все они записаны в светочи человечества. Потому я и живу пока в грехе, что прошел лишь полпути, данного мне для нахождения истины.

Соитие двоих перед моими глазами – всегда повод стать в нем третьим. Редко мне удается остаться возвышенным, физиологически безучастным, хотя это моя высшая цель. Немощный старик, познающий юную деву гениталиями своего сына, – вот формула продолжающейся жизни. Вперед, мой мальчик, покажи ей, на что мы способны... Бог-отец, Бог-сын, Бог-дух святой. Кстати, проблемы русского православия в том, что и через тысячу с лишним лет после крещения мы остаемся язычниками.

За рождением Христа, который для меня, безусловно, фигура реально-историческая, явно стоит какой-то темный адюльтер его матушки, сокрытый цензором-евангелистом. Скорее всего, Иисус – бастард, или, по-нашему, выблядок, как изволил выражаться о своих незаконнорожденных детях наш национальный гений Александр Сергеевич. Мальчик, рожденный в хлеву от Духа святого,³ несомненно страдал от комплексов. Возможно, неродной отец его даже поколачивал. Откуда еще было взяться столь нечеловеческой силе духа как не из борений с собственной злосчастной судьбой. Не отсюда ли – и его «оставь жену, дом свой, детей своих – иди за мной». Разрушитель семейных уз, он никогда и не любил семью, удовольствовавшись объятиями падшей девки, – для таких, как он, это весьма характерно.

Нужно ли еще пояснять, что он мне близок. Христос – бунтарь-одиночка, а бунтарство в разные времена самоосуществлялось по-разному. Покопайтесь в детстве великих бунтарей, и вы едва ли найдете там хоть одну мало-мальски счастливую семью.

Если я и принимаю христианство, так это за его явную гетерогамию. «Песнь песней»... – до сих пор удивляюсь смелости духовных отцов, не изъявших ее из Священного Писания. Слышите? – любовь между мужчиной и женщиной священна. Время однополых соитий – это время Сатаны. Но о Сатане как-нибудь в другой раз. Пока же ограничимся демоном бедной Мойбеле из спектакля на сцене одного из питерских драмтеатров. Да, всего лишь этим единственным в своем роде спектаклем, который я им устроил, слегка изменив сценографию центрального эпизода.

Откровенно говоря, меня меньше всего интересовала режиссура, сама концепция, так сказать, и все эти флюиды между залом и сценой, создающие из театрального действия подобие животворного чуда, – меня интересовала лишь главная героиня, вернее, не она, а актриса, играющая эту роль, великолепный образчик женщины-Матери, вылепленный по образу и подобию пышных матрон Рубенса, от каждой из которых было взято только самое лучшее. Вообще-то я Рубенса не люблю, и его целлюлитные тела с детства вызывали у меня отторжение, но актриса Ома, так ее назовем, самими уже звуками обозначив ее статуарность, была мне знакома еще девочкой по Вагановскому училищу, которое она, как и я, не закончила, причиной чего была ее стремительно проявившаяся к пятнадцати годам избыточная телесность. Посмотреть на ее мегабюст сбегался чуть ли не весь незанятый мужской контингент училища, включая тех из педагогов, которые остались верны прекрасной половине человечества... Бывал там и я, тогда еще непорочный и никого, кроме самого себя, не познавший. Женщина с такими формами просто напрочь переросла балет.

И вот она закончила Театральный институт, и вот она стала актрисой, и как-то я про нее совсем забыл, пока однажды, проходя по Литейному, не увидел ее лицо на афише и не узнал знакомые очертания передних полушарий, естественно, не ускользнувших от взгляда фотографа и дизайнера. Еще не имея никаких задних мыслей, движимый скорее ревнивым любопытством насчет того, как она устроилась в этой послебалетной жизни, что умеет, талантлива ли, я купил билет и посмотрел спектакль, который мне, в общем, пришелся по душе,

³ как тайком рожали залетевшие от барина деревенские девки

потому что эта бедная еврейская девушка Мойбеле оказалась из нашенской, маньячной, породы, – то есть законченной нимфоманкой, идентифицирующей свои исконные плотские позывы с поисками Бога. Не думаю, что она, девица в добром уме и здравии, действительно не отличила бы Ангела от тощего возлюбленного, который под шумок ангельских крыльев ее периодически имеет.⁴ Значит, хотела не отличать – уж больно сладка была музыка, звучащая из раскрывающихся чресл.

Играла Ома неплохо, хотя артистизм ее проявлялся скорее в пластике и в низких гортанных модуляциях как бы омытого прохладной влагой голоса, чем в собственно психологическом рисунке образа. Ну да мне было неважно, потому что я, как зачарованный, следил за сценическими перемещениями ее бюста, заостренного привставшими сосками, странствующего по Вселенной Моих Чувств. Похоже, то же самое испытывали в зрительном зале все одинаковой со мной ориентации плюс лесбиянки, жертвы негативного, по Юнгу, материнского комплекса. Теперь, уже зрелый, так сказать, выдавший виды муж, я с почти забытым телячьим восторгом взирал на эти божественные груди, понимая божественность, как самое первое, что даруется нам по вхождении в эту жизнь, даруется как утешение за ее жестокость, которая встанет в полном объеме, когда нас однажды и навсегда от этих грудей отлучат.

И я ее захотел. Но она, конечно, оказалась замужем. При таком приданом иначе и быть не могло. Разве что она могла бы выходить замуж ежедневно. Мне же хватило бы и десяти минут в промежутке между двумя замужествами. В общем, я загорелся, а поскольку по гороскопу я Телец, то не собирался отказываться от своей затеи даже ввиду ее абсолютной неосуществимости. Что нам мешает? Только собственная робость. Именно ее мы экстраполируем в будущее и поэтому имеем нулевой или отрицательный результат. Наши комплексы состоят из наших собственных проекций. Попробуйте дуриком, на голубом глазу, закинуть в этот омут самую наглую свою идею, и, уверяю, вам попадется в сеть золотая рыбка. Каждому по вере его – это не шуточки.

И я придумал. Она ведь не нужна была мне всегда, с утра до вечера, и ночью, – доступная, понятная, моя, и больше ничья. Я не собственник. Меня вдохновляет только чужое добро. В ее окно не влезть – там мужик. Само же окно выходит на бессонный Невский проспект – нашли, где жить, пажоны. Я мог бы поиметь ее разве что в подъезде или в лифте,⁵ но в ее старинном доме не было лифта, а было кошачье зловоние и общерусская, несмываемая грязь. Представляете себе соитие на таком фоне?

Короче, я решил сыграть свою роль прямо на сцене. В ту пору спектакль шел с аншлагом чуть ли не каждый день. У моей Омы-Мойбеле, как у примы, замены не было, однако в других ролях, в том числе и у ее любовника, имелся еще один партнер из второго состава. По какому-то провидению мы с ним были похожи, даже примерно одного роста, хотя и разного телосложения.

Чтобы получить беспрепятственный доступ за кулисы, я буквально накануне нанялся рабочим сцены за четыреста рублей в месяц, то есть – за тринадцать долларов по нашим абсурдным временам. Нужно ли говорить, с каким чувством я стоял перед массивной криватую в светелке Мойбеле...

* * *

И вот спектакль начался, и я жадными ноздрями собственнически вдохнул присутствие Мойбеле на сцене. Я слышал ее голос, отмечал ее проходы через свет рампы, льющийся в промежутки декораций, – она являлась мне не вся, как из зала, а фрагментарно, как в сои-

⁴ это и есть сюжет пьесы

⁵ это отдельная история

тии, – рукой, профилем, голосом, поворотом платья, и тень ее впервые падала на меня, как бы подавая знак. Оставалось выключить из участия ее партнера, но и тут я полагался на естественный ход вещей. От экзотики – подвесить его вместе с декорацией под колосниками, опрыснуть из баллончика слезоточивым газом, залепить рот пластырем и закатать в ковер – я отказался по определению.

После каждого выхода на сцену он смолил сигарету в туалетной курилке – тонкие нервные пальцы, какой-то потусторонний взгляд – там я его и закрыл на внешнюю щеколду, поставленную, видимо, для того, чтобы до зрителей не доносились сантехнические шумы. Свет на сцене померк, и после слов Мойбеле: «Приди ко мне, мой ангел», я явился перед залом на правом краю сцены, босой, как должно ангелу, на верхней ступеньке стремянки, то бишь с самих театральных небес.

Изумление в глазах моей Мойбеле было неподдельным – и вправду, как тут не изумиться? Чудо, даруемое Творцом, как раз в том и состоит, что при всех наших мольбах, даже приходя нам на помощь, сам по себе он остается нематериализуемым. Ома же, вдобавок к вполне тут уместным эмоциям своей героини, была изумлена подменой, как если бы, отправляя в рот ложку с медом, вдруг запоздало, уже в загубной полости, рецепторами языка, реагирующими на горькое, сладкое и соленое, распознала разлившийся там хинин. У нее было полсекунды на оценку ситуации – с отвращением выплюнуть или проглотить, но я так приветливо и твердо улыбался ей, глядя прямо в глаза и не предлагая никаких иных вариантов, кроме своего собственного, что она поверила мне и протянула руки. Что до зрителя, так ведь никто ему и не говорил, что ангел будет только один.

– У Баруткина приступ аппендицита, – шепнул я, когда мы оказались рядом. – Врача вызвали, – добавил я еще раз в удобный момент.

Мы блестяще провели нашу сцену, которая заканчивалась в стоящей тут же фундаментальной кровати, как бы одновременно алтаре Мойбеле... К чести Омы надо сказать, что она прекрасно вписала свою роль в мою и, доверив моей руке свою ладонь, взошла на ложе. Несмотря на нищенскую одежду из костюмерной, она хорошо пахла, как знающая себе цену женщина. Ее разгоряченное игрой большое чистое тело, заботливо обихоженное французским дезодорантом, источало во тьму зала любовный аромат самки, призывающей могучего самца-производителя. Вот я и пришел, Ома, чтобы взять то, что мне причитается. Накрывшись одеялом, мы должны были заключить друг друга в объятия в классической позе, когда партнерша внизу. Что я и сделал, не мешкая впившись в ее губы. Ее руки, бесчувственно обнимающие меня, вдруг замерли, и ее тело, вздрогнув, напряглось подо мной, еще понимая меня в том смысле, что на сцене я, неизвестный ей стажер, практикую по системе Станиславского зашкаливающий суперреализм, которым так знамениты голливудские киноактеры и которому она из-за меня, психа ненормального, должна теперь соответствовать. Вздрыгнула она еще и потому, что мой вставший зверь рвался наружу, упираясь ей в мягкий объемный лобок, похожий на подушечку для иголок. Но и такое с актерами бывает не столь уж редко⁶... Я же стремительно проник левой рукой к ее паху, по причине летней жары и духоты едва прикрытому какими-то хорошо тянущимися кружевами, и поскольку на мне предусмотрительно и вовсе не было плавок, тут же без обиняков вошел, не давая ей опомниться и сомкнуть обширные лягави, горячие, как южный полдень. Она была не то чтобы готова – излишней влаги в ней не было, но все же, как истинная женщина, она была готова всегда, потому я легко вошел на всю глубину, получив встречный поцелуй ее шейки матки, и пропустил руки под ее коленями, так, чтобы она не могла разогнуться и оттолкнуть меня. Дивные груди ее, прикрытые под дурацкой еврейской кацавейкой чем-то тонким, батисто-

⁶ какая-то гениальная голливудская парочка по уговору даже натурально поношалась в любовной сцене перед камерой, о чем потом почему-то оба пожалели

вым, колыхнувшись, разошлись и сошлись над моей головой, как волны, как облака, как сладкий сон. И хотя, вцепившись мне в волосы, она пыталась вытащить меня на поверхность, я был сильнее.

Над нами звучала томная музыка соития, мерцал зеркальный шар, посылающий в зал и на задник сцены разноцветные блики, а сам задник, сотканный из мириада мягких иголок-фольгинок⁷ – шевелился и переливался, как мечта, пропуская туда-сюда наши кружащиеся в любовном трансе, слитые воедино тела... Надеюсь, все так и было, только задник остался пуст, потому что я играл на среднем плане, поднимаясь и опускаясь в темной духоте покрывала, с трудом удерживая над собой ее вздрагивающие высоко поднятые, прикрытые сверху ноги, отчего сценический пододеяльный образ всей этой темной скачки должен был производить хоть какое-то эстетическое впечатление. Мне же надо было по-быстрому кончить, как кончают неопытные юноши и уставшие старики, и, распялив ее пышные сокро-вища, я бешено работал бедрами, шепча ей в ухо, как помешанный: «Помнишь Вагановку... Мальчика... Это я... Люблю, люблю, люблю, люблю...». И слышал в ответ судорожное: «Что ты делаешь? Пусти!», тогда как недра ее, и я это чувствовал, не отторгали меня.

Нет, она не уступила мне, не разделила со мной и толики предложенных ощущений, она сопротивлялась до конца, до того ослепительного мгновения, когда каскадами водопада я полетел в бездну, издав тихий стон смертельно раненного зверя, стон счастья и боли, потому что я знал, что в этот момент теряю оскверненную мной Ому навсегда.

Потом я поднялся с постели, слыша не только гробовую тишину зрительного зала, но и гробовую тишину сцены и всех емкостей, что были за ней – двух ее карманов, колосников, пустой гримерной, даже запертого⁸ туалета, – потому что все, кто был там, торчали теперь здесь, между кулис, гирляндами замерших в шоке голов. Я уже не мог туда вернуться, поэтому пошел прямо в зал, по центральному проходу. Возле самого выхода, обозначенного зеленым огоньком, я обернулся.

Ома сидела на постели, опершись на одну руку, и ее распущенные волосы едва прикрывали полуобнаженную грудь. Она не замечала этого, она смотрела мне вслед и весь ее потрясенный вид женщины, которую бросили, оставили на волне восходящего катарсиса, говорил: «Куда же ты? Как же я теперь?»

Не знаю. Я никогда этого не знал.

Никакого скандала по сему поводу не было. Зал же принял произошедшее за чистую монету – это было время, когда эротика и обнаженка, как сель, хлынули на сцену и никто ничему не удивлялся.

Ома меня не искала. И о том, что на самом деле случилось между нами, скорее всего не сказала никому. Когда она через девять месяцев родила, я подумал, что от меня.

* * *

Сегодня на службе, помогая какой-то томной студентке с копной тяжелых черных волос, я наткнулся на Юнга, машинально открыл его книгу об архетипах и коллективном бессознательном, и аж дыхание перехватило. Он написал, что образ Полифила, окруженного нимфами, восходит к одной из самых древних и глубоко укорененных в человеческом сознании фантазий. А ведь это – мои подростковые грезы, когда я не знал ни Юнга, ни Фрейда, блуждая потерянными одиночкой по лабиринтам своих эротических видений. Главное из них – небольшое пространство, задрапированное нежным алым шелком, так что его полотнища реют свободными концами там и тут. Среди них медленно танцуют полуобнаженные девы

⁷ местечковый парафраз на тему знаменитого занавеса из „Гамлета“ в Театре на Таганке

⁸ или уже открыли?

в таких же шелках, и я – счастливый – вместе с ними. Почти сцена из балета «Аполлон Мусагет» в постановке Михаила Фокина – только вот какими все-таки средствами передать томление поющих чресл?

Не помню, кто из древних философов – Демокрит? – с облегчением сказал в восьмидесятилетнем возрасте: «Наконец-то этот зверь перестал меня мучить». Катастрофа! Еще пятьдесят лет быть на поводу? Сколько раз я обращался к Господу Богу: «Сделай так, чтобы я не хотел. Обрати в смиренного Агнца». Нет ответа.

Все мои любовные истории развивались по сценарию вычитания: не получилось, не произошло. Получалось же то, что, в принципе, меня не интересовало: собачья случка, с заклиниванием в конце – когда я смотрел в другую сторону, но не мог тут же убежать. Хотя поначалу каждый раз мне казалось, что теперь-то все будет иначе...

Однажды вечером она прошла под моими окнами, и я увязался за ней, точнее, за ее походкой – столько там было скромного достоинства, юного азарта и доброго нрава. Она не была девственницей, но ее женский опыт ограничивался лишь одним олухом, который успел сделать ее фригидной.

Когда я впервые привел ее домой и, с трудом преодолев ее деревенское сопротивление,⁹ алчно, но нежно погрузился в нее, она сокрушенно призналась, что ничего не чувствует. Еще примерно месяц я терпеливо разжигал в ней огонь, по веточке подбрасывая хворост и сосновые шишки, чтобы она наконец поднялась высоким страстным костром, на котором я и стал сжигать ее два раза в неделю. Она тогда училась в Кульке – так назывался Институт культуры имени Крупской – и подрабатывала на почте, разнося газеты и письма. Вечером по вторникам и пятницам – в ее смену – я приходил за ней на почту и уводил к себе. Еще не раздевшись, распахнув полы пальто, как демон – крылья, я прижимал ее к себе, спускал с нее джинсы, трусики и, обежав языком горячую мокрую пещерку ее послушного рта, тайком любовался в большом зеркале прихожей ее смуглой живой попкой, словно вылепленной Бенвенуто Челлини для эротических утех. Моя рука жадно бродила по ней, исследуя подробности, и я завидовал руке и этому зазеркальному образу, который был идеален, как бы вещь в себе, но, увы, оставлял меня лишь на пороге моих запредельных порывов.

У нее, псковской русачки, была смуглая кожа, и она сама шутила, что без татарского нашествия тут не обошлось. В ее шафранной подпалине рдела роза с крупными лепестками, за которыми во время любовной гимнастики открывался алый, словно раскаленная печная дверца, вход. Там тоже что-то обещалось – Геенна Огненная, Огонь Пожирающий, Агония Огня, Агни-Йога, но, углубившись, я вместо всеобновляющего ожога получал все те же влажные всхлипы плоти, телесные судороги и обморок в конце, который я не раз нечаянно пропускал, продолжая распинать уже бесчувственное тело.

И все-таки я хотел на ней жениться – верная, страстная, бессловесная, родственники далеко – и даже устроил в нашу библиотеку в отдел внешних связей, или сношений, как изволил шутить ее шеф, мой коллега. Иногда, не дождавшись вторника или пятницы, я тайком прибегал к ней на третий этаж и, заперев служебную дверь, набрасывался на ее послушное тело. Лучше всего это получалось на столе, и, чтобы у нее на спине не оставалось синяков, мне приходилось контролировать ее конвульсии. Но мне этого было мало, и, посадив ее голую, дрожащую, что-то безумно шепчущую, на корточки, я продолжал, уже рукой, терзать ее распутившийся цветок – и он без устали стрелял мне в ладонь бартолиниевой струйкой, как хамелеон языком. Такое могло длиться долго, и порой я уже не знал, хорошо это или плохо, что моя тихая и приветливая подружка, готовая за меня в огонь и воду, превращается в неведомое существо из каких-то древних мифов, откуда она не сразу возвращалась ко мне, – я же тормозил ее, расспрашивал, заглядывал в ее еще не видящие, распахнутые,

⁹ почему-то она не могла быть передо мной голой

как у куклы, глаза, будто надеясь увидеть в них ответ иного – обетованного – мира, куда мне почему-то был заказан вход.

Расстались мы через год и довольно болезненно. Она никак не могла взять в толк, что накутила мне со своими вечно мокрыми от обильного секрета простынями и полетами, в которые так и не смогла взять с собой. Ей, бедняжке, пришлось даже побывать в Бехтеревке, после чего уволиться. Последний раз я ее видел минувшей весной – уставившись в никуда, она продавала журналы с женскими головами и издали показалась мне одной из них, словно тело ей отсекли.

Ночь вторая

Я потерял отца, когда мне было пять лет. Видимо, вместе с ним я потерял возможность стать полноценным мужчиной. Мой отчим – стодевяностосантиметровый мустанг-производитель, в прошлом довольно известный артист балета, типа Джона Марковского, с которым в восьмидесятые годы выступала Осипенко, растоптал мое детство, а потом мою юность. Что было до него, я помню смутно – всего несколько мгновений с отцом, но все они озарены светом, добром и маминой улыбкой. Помню, как мы возвращались вдвоем из гостей – уже на лестничной площадке нашего дома я услышал, как по радио гремит гимн Советского Союза, и пришел в полный восторг – до полуночи я еще никогда прежде не бодрствовал. Помню салют на Неве, себя на папиных плечах и тысячи кричащих голов на фоне аспидного неба, с громом и треском раскалывающегося на разноцветные вспышки огней... Помню... Впрочем, какое вам до этого дело? Ведь я помню и другое. Как однажды, в первом классе, я заболел, и по ночам у меня были галлюцинации, и однажды я не выдержал и пошел в спальню, от которой меня почему-то отлучили, когда умер папа. Дверь в нее была приоткрыта, и в приглушенном свете от красного абажура я увидел на постели мою маму, а сверху титана-отчима, который что-то с ней делал. Я думал, что он ее мучает, – она стонала и металась под ним, а он ее не отпускал. Ее белые ноги были широко раздвинуты, как у курицы, которую мы недавно вместе купали по пути из школы, а между ними безостановочно ходили вверх-вниз бесстыдные ягодицы моего отчима, на которых почему-то были мамины прекрасные руки.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.